

О СЦЕНИЧЕСКОМЪ ИСКУССТВѢ.

КНИГА БРАНДЕСА.

Книга Брандеса «О сценическомъ искусствѣ» посвящена «венецианкѣ Дузе». Она не касается «сущности» сценическаго искусства. Она представляетъ собою только экстрактъ тѣхъ образовъ, которые поразили автора. Она сопоставляетъ всѣ передовые народы въ ихъ представителяхъ. Тонъ всей книги даетъ то вдохновенное пророчество, которое находить живое воплощеніе въ образахъ, создаваемыхъ Дузе. Сама книга ищетъ наиболѣе вдохновенного пророчества.

Сценическое искусство имѣть особенности: въ приемахъ его нѣтъ ничего устойчиваго, все сводится къ впечатлѣнію. Кто хочетъ оживотворить содержаніе книги, долженъ освѣтить его огнемъ собственныхъ впечатлѣній.

* * *

Формула новаго стиля сценическаго искусства слѣдующая: линія развитія восходить къ символически-живописному. Въ чёмъ этотъ послѣдній стиль особенно превзошелъ старый — это жестъ, движение. поза — красочная трагичность.

Иначе говоря, это сценическое искусство въ линіяхъ и пятнахъ.

Кто создалъ этотъ стиль? Можно было бы отвѣтить: жизнь наша стала декоративнѣе, также и сцена. Создали его писатели. Они явились причиной упраздненія прежняго путемъ обогащенія психологическихъ красокъ, путемъ импресіонизма на сценѣ. Прежній стиль имѣлъ отрицательныя достоинства: онъ былъ великъ въ отвращеніи къ противостоящему, великъ въ сдержанности, въ проявленіи тайныхъ движений души.

Сѣверныя расы наименѣе одарены сценическими талантами. Они не развертываются во всю ширину, они чувствуютъ себя словно связанными. Со временемъ христіанства, зараженнымъ аскетизмомъ (тогда какъ южане преслѣдовали культу Мадонны), они подавляли свои порывы. Или, быть можетъ, на ихъ артистовъ вліяли туманы ихъ небосклона? Какъ бы то ни было, они давали намъ моменты такихъ потрясений, которыя обогатили насъ, живущихъ именно подъ этими тусклыми небесами.

Писатели стали стилизировать. То же должна была сдѣлать и сцена. Метерлинкъ, Уайлдъ, Гормаянтель, д'Аннуціо, Ведекиндъ уже не созда-

вали образовъ, скорѣе—идей. Они воплощали игру красокъ, комическую игру линій, калейдоскопъ траги-комического. Они, можетъ быть, создавали нѣчто угасающее и тоскующее вмѣсто человѣка; нѣчто сверкающее или потустороннее вмѣсто образа. Они, можетъ быть, даютъ музыку вмѣсто характера, пятно вмѣсто очертанія, улыбку вмѣсто комедіи, настроеніе вмѣсто событій. Только не людей. Они изображаютъ страхъ, а не трусливый характеръ, порочность, а не извѣстную Гедду Габлеръ съ извѣстными пороками. Они живописуютъ жизнь пѣвца, а не образъ его, въ безрукой женщинѣ скорѣе пламенную супружескую любовь, нежели любящую супругу. «Смерть Тентажиля»—не исторія незаконнаго сына, а ужасъ незаконнорожденности, аккордъ удущливаго отчаянія и т. д.

Это особенно сказывается въ одномъ: каждый актеръ теперь—болѣе чѣмъ это было раньше—является лишь свѣтлой точкой или тѣнью, или цвѣтнымъ пятномъ въ общей картинѣ. Все зиждется на общемъ впечатлѣніи. Оттого и искусство актера скорѣе требуетъ воплощенія идеи, нежели образа. Такъ какъ образы являются аллегоріями (символами), то и онъ долженъ давать въ большей, нежели прежде, степени впечатлѣніе зрительное, изобразительное, символическій знакъ, и не только маскою лица, а извѣстнымъ сильно отчеканеннымъ впечатлѣніемъ, символическимъ образомъ въ рѣшительной сценѣ; въ худшемъ случаѣ къ этому присоединяется все вещественное въ образѣ.

Необходимъ примѣръ: у Толстого, въ его натуралистической «Власть тьмы», когда кто-нибудь стоитъ на стражѣ, оберегая совершающееся убийство, то стоитъ именно извѣстное лицо на стражѣ извѣстнаго убийства. Въ «Электрѣ» Гофманстала, въ аналогическомъ случаѣ, Эйзальтъ (германская актриса) является уже не женщиной, стоящей на стражѣ преступленія, да еще своего преступленія, а «стражей убийства», какимъ-то нетопыремъ мести. Она воплощаетъ идею, а не случай. Она стоитъ, распластавъ руки, какъ ночная птица крылья, и взглядомъ своимъ также воплощаетъ стражу убийства, игра ея сводится къ моменту, стилизациі, символу. Въ этомъ тѣлодвиженіи все ея существо; а въ этомъ существѣ—вся суть вещи.

Дузе (совсѣмъ въ другомъ смыслѣ) дала нѣчто подобное. Дни и годы спустя сохранишь въ памяти эту картину прислонившейся къ камину женщины съ распостертыми руками, въ произведеніи, вовсе не символическомъ, и въ образѣ, исполненномъ тоски; словно вся нѣмая скорбь смертоносной ночи повисла надъ нею. Это случилось, когда она была пресыщена творчествомъ, озарена счастьемъ, даннымъ ей д'Аннуціо. Въ роли Адріенны Лекувреръ стояла она у очага; но это уже не была Адріенна—это былъ «орнаментъ къ камину», бессмертный орнаментъ, незабвенный въ мрачной красотѣ этой исключительной скорби, «незабвенный по рисунку... Въ тѣ дни она предпочла натурализму живописно-символическое искусство. Подавая пуншъ Левбаргу, она уже не являлась Геддой—это было «само обольщеніе», нѣчто картина, отъ всего свободное. Отъ нея вѣяло настроениемъ (что называли ея манерностью) или великой жаждой красоты, когда она уже сознательно стала относиться къ Ибсену, какъ къ канвѣ для своего творчества.

* * *

Дузе—владычица сцены. Она углубляетъ душу, будить въ людяхъ

красоту и состраданіе, исторгаетъ слезы; она воплощаетъ въ образахъ всю скорбь, всю кровную муку нашей суетной жизни, она умѣть высмѣять преходящій смѣхъ бытія. Она царитъ въ книгѣ Брандеса. О ней говорится и тогда, когда идетъ рѣчь о другихъ. Она первообразъ живописно-новаго въ послѣднемъ періодѣ развитія сцены.

Любопытно прослѣдить сценическое искусство по расамъ. Франція обладаетъ величайшими техниками, Италія—геніями. На одной крайней точкѣ—Режанъ, на другой—Дузе. Тамъ дивный блескъ, здѣсь—дыханіе вѣчности. Во Франціи создается наиболѣе чудесное, въ Италіи—само чудо.

Быть можетъ, теперь у Дузе уже нѣтъ той концентраціи внутренняго чувства, которое было въ началѣ; все проявляется общѣе, свободнѣе. Ея участіе въ общей картинѣ, быть можетъ, слабѣе, зато линіи прекраснѣе. Сила ненависти, могущество любви уже не овладѣваютъ вами съ такимъ очарованіемъ, какъ прежде. И тѣмъ не менѣе она «Дама съ камеліями» или «Трактирщица», какихъ никогда не было, нѣтъ и не будетъ помимо ея. Страждущій и смѣющійся человѣкъ. Роль для нея лишь предлогъ. Она раньше была болѣзниче, глубже, разслабленнѣе, сосредоточеннѣе. Десять лѣтъ спустя жизнь увлекаетъ ее, самоуглубленіе исчезаетъ. Она здоровѣе, но въ силу десятилѣтней борьбы совершеннѣе въ творчествѣ. Вѣдь не можетъ же она отрѣшиться отъ своей оболочки! Лишь бы сохранился у нея ея неподражаемый юморъ, а также особенная глубина (я прелести). Улыбка ея несравненна, она геній лукавства. Въ рѣзвости ея звучитъ непостоянство, которое вѣчно, безсмертно. Шутить ли она, смѣется ли, бросается ли въ кресло, простирая руки въ пространство,—неотлучно витаетъ надъ нею мерцаніе вѣчности. Глядя на нее, памятуешь о всей странной загадочности нашей быстротечной, горько очаровательной жизни. Въ ея веселіи—скорбь, въ улыбкѣ—рыданіе, въ восторженности—мука.

Но является ли эта веселость ея тѣмъ же, что дѣлаютъ изъ веселости человѣческой великие композиторы? «Конецъ пѣсни»—такъ называетъ Шуманъ стремительный, полный веселья отрывокъ, гдѣ въ концѣ странные, слабые, потонувшіе колокола говорятъ: «Это конецъ пѣсни!».

И ея смѣхъ таитъ обратную сторону. Именно въ силу того, что она такова, могла она явиться пробнымъ камнемъ для человѣка,—тогда, въ тѣ времена,—для человѣка, впервые получившаго отъ нея альтруистической толчокъ прямо въ здоровое, слишкомъ крѣпкое двадцатичетырехлѣтнее сердце.

И теперь, подчиняясь вліянію времени, видимъ мы ее такою же, какъ и прежде. И когда ея не станетъ, мы скажемъ: «Мы еще знали ее»...

Чары и слова исключительныхъ людей, послѣ нихъ еще свѣтится нѣкоторое время неисповѣдимымъ огнемъ. Кто испыталъ на себѣ эти чары, спасеть память о нихъ для всѣхъ вѣковъ. Да, въ ней переживаешь мгновенья, въ которыхъ замираетъ движение времени.

Не служить ли для нея и Ибсенъ лишь матеріаломъ для развитія ея собственныхъ стремленій? Конечно, она никогда не можетъ быть сѣверной Геддой. Она даетъ въ ней утонченную, богатую темпераментомъ кошечку, сверхъ-кошечку зрѣлаго юга, тонкую прелестъ отцвѣтшей культуры. Гедда же—крупная, холодная сѣверная кошка; малоподвижное, прищурившееся, жестокое хищное животное. Весь типъ въ его

сдержанномъ холодѣ остается чуждымъ южному небу. Чтобы оцѣнить то, что есть въ Дузе национального, надо видѣть не итальянскихъ гастролеровъ, а итальянскій театръ (театръ Гольдони, напр.) видѣть, напр., ту «неизвѣстную» въ Европѣ (*Clara della guardia*), которой аплодируетъ сама Дузе и которая даетъ впечатлѣніе жалостливой ненависти, рыдающаго гнѣва и муки, ту, чей стимулъ—страданіе, страданіе и страданіе.

Въ Геддѣ у Дузе есть два мгновенія, когда она безсмертна по своему: когда Левбаргъ въ первый разъ появляется, она протагиваетъ ему руку незабвеннымъ, великолѣпнымъ движениемъ, какъ Валькирія—побѣдителю дракона. Вся она свѣтится человѣческой гордостью, суровымъ, ликующимъ величиемъ. Загѣмъ она проходитъ черезъ всю комнату, и походка ея—это музыка, словно что-то подхватило и само несетъ ее. Только гений можетъ создать подобный моментъ. А въ концѣ... въ концѣ она отказывается протянуть руку Левбаргу. Когда она подаетъ ему револьверъ, какъ орудіе прекрасной смерти, она вырастаетъ въ миѳической образѣ; онъ на прощаніе тянетъ къ ней руку, она же отводитъ свою. Она стоитъ прямо, въ позѣ холодной рѣшимости, она сияющими взоромъ въ послѣдній разъ глядитъ на него, ненавистнаго и любимаго,—какъ Валькирія на побѣдителя Дракона.

Нѣть моста между Италіей и Норвегіей, но есть мостъ между Дузе и Ибсеномъ. Другіе вѣрнѣе понимаютъ Гедду, но никто не сыграетъ ея такъ гениально...

Въ одинъ достопамятный вечеръ она была Сильвіей Сеттала, въ «Джіокондѣ». Передъ этимъ шелъ дождь; сверкали зловѣщія звѣзды. И все же въ этотъ вечеръ херувимы спускались на землю; неисповѣдимымъ свѣтомъ обрамляли они смертельно-блѣдное лицо этой единственной женщины. Сама роль Джіоконды исполнялась некрасивой толстой актрисой. Что было до этого? Кто сталъ бы думать объ этомъ. Само волшебство еще разъ спустилось на землю и сіяло въ неземномъ блескѣ... Лишенная рукъ, она жадно ласкала Сиренетту губами, съ тоскою и страстью прижималась къ ней, трепетала. Малютка недоумѣваетъ, спрашиваетъ... Тогда Дузе отвѣчаетъ тихимъ, подавленнымъ голосомъ, насыщеннымъ скорбью: «У меня нѣть рукъ!». И вотъ совершается нѣчто дивное: лицо ея окрашивается, глаза медленно наполняются тяжелыми, горькими слезами, эти слезы текутъ...

Зрители связаны однимъ общимъ чувствомъ. Всѣ пропасти наполняются, всѣ различія исчезаютъ, все человѣческое выступаетъ. Дузе играетъ... просто вѣроломную жену, Цезарину, «femme de Claude»—опять Дюма—но не все ли равно? Она является лживымъ созданьемъ, полнымъ нечестивой хитрости, низкихъ наклонностей, дурныхъ инстинктовъ, наивной негодницей, разсчетливой развратницей. Только въ одной сценѣ пробуетъ она снова завладѣть своимъ мужемъ; она любить его, это у нея неподѣльно. Дузе раскрываетъ тутъ... все! Сидишь удивленный, потрясенный, совершается чудо: въ мѣстахъ, гдѣ она проявляетъ прелесть уличной дѣвушки, вы чувствуете, какъ слезы выступаютъ у васъ на глазахъ. Высшая радость чувствовать, что подобный анализъ души можетъ найти тѣлесное выраженіе, что и въ чувствѣ зла такъ удивительно развертывается человѣкъ, всетаки не что иное какъ человѣкъ, что тайныя внутреннія побужденія заблудшаго созданія съ

такимъ блескомъ обнажаются этой волшебницей. Да, хочется крикнуть: «Не кидайте камнями въ эту Цезарину, не кидайте камнями ни въ какого грѣшника, потому что онъ—властный организмъ, удивительное произведение въ своей прочности; благословенна сила, создавшая звѣрей подобного рода; благословенна своеобразная слава многообразной, чудовищной грѣховности; благословенъ демонизмъ неба и земли, породившій подобныхъ созданія; не кидайте камнями ни въ какого грѣшника»...

Таковы творенія ея за послѣднее время. Ранній и поздній періоды сливаются.

Разъ въ тысячелѣтіе появляется личность, подобная ей.

Изъ мужчинъ выразителемъ новаго стиля въ Италии является скорѣе всего Цаккони, съ его нервнымъ, дифференцированнымъ талантомъ. «Онъ часто даетъ слишкомъ много, потому что онъ можетъ дать безконечно многое» («Призраки», «Отелло»). Особенно потрясаетъ онъ тамъ, гдѣ смѣшное переплетается съ трагическимъ. Поэтому ему особенно удастся роль тургеневскаго Кузовкина. Онъ можетъ быть до грубости страстенъ, но можетъ быть и благородно сдержанъ, какъ истинный другъ правды. Его благородная нервность даетъ наилучшаго Іоганна Фокерата.

Італія—страна изобразителей глубинъ человѣческаго духа, Франція — страна искусства. Эру новаго искусства во Франціи провозгласилъ Антуанъ, представителями его явились Сара Бернаръ, Режанъ, Кокленъ, этотъ актеръ іудейства, по выражению Дрюмона, актеръ гамбетизма, перворазрядный декламаторъ, скорѣе говорунъ, чѣмъ творецъ, вѣчно оживленный, вѣчно лукавый, вѣчно блестящій, вѣчно забавный...

Нужно нѣкоторое время, чтобы отдать себѣ отчетъ, почему Сара Бернаръ до такой степени знаменита. Затѣмъ случайно наталкиваешься на сознаніе того, въ чёмъ ея очарованіе. Маленькая птичья головка. Въ остромъ взглядѣ, остромъ голосѣ чувствуется еврейка; вокругъ глазъ припухлости; носъ великолѣпный по своей тонкости... Воспоминаніе объ этой особѣ пріобрѣтаетъ все большую и большую силу. Особенно словно надтреснутый голосъ и нѣкоторая движенія; она говоритъ, какъ ребенокъ, странный культивированный ребенокъ. Культивированы и ея движенія; одинъ этотъ наклонъ корпуса, когда она простираетъ руки впередъ, словно стремится къ полету,—остается въ памяти. Въ немъ чувствуется что-то вкрадчивое. А когда она обнаружаетъ зубы, словно вынужденная улыбнуться, невозможно устоять противъ этой величавой, привычной, вызывающей и плѣнительной любезности. Но никто ни на минуту не забываетъ блестящаго искусства игры. Эта женщина кокетлива до кончиковъ пальцевъ, искусственна до мозга костей. Сравнить ее съ Дузе—Боже! Да если бы Дузе было не шестьдесятъ, а сто двадцать лѣтъ, она всетаки творила бы самое жизнь, самое природу, тогда какъ Сара является продувной мастерицей.

Тонъ у нея всегда не настоящій. Но никакихъ другихъ ошибокъ нѣть за ней. Она ничего не говоритъ душѣ. Этому ужъ не поможетъ. Она изображаетъ очаровательность, причемъ часто действительно бываетъ очаровательна; или изображаетъ нервность тигра. И все вмѣстѣ оставляетъ впечатлѣніе не болѣе какъ на годъ. Слабо реагируетъ она и на смерть возлюбленнаго. Она поддѣлывать «слезы». Она не рыдаетъ на

самомъ дѣлѣ въ силу страданья и муки. Ни одно мгновеніе не любила она этого статиста. Она только принимала позы жертвы, гиѣва, страха (тамъ, гдѣ у Дузе любовью трепетала бы вселенная). За игрою Дузе слышится ропотъ вѣчности; за игрою Сары Бернаръ не забываешь о шелестѣ кулисъ.

Твой взоръ спросилъ, что я люблю всего сильнѣй.
Я грудь люблю — и душу въ ней.

Послѣднее слово подобного искусства видимъ мы у Режанъ,—величины крупнѣйшей. «*C'est vraiment une actrice!*», пишетъ о ней въ 1888 году старшій Гонкуръ въ свое мѣнѣ дневникъ. На самомъ дѣлѣ слѣдуетъ прибавить: «Это дѣйствительно только актриса!». Она—не земное чудо, какъ Дузе. Она—не образецъ поэзіи, какъ Сорма. Она исполняетъ все, что можно сдѣлать, не будучи геніемъ, и исполняетъ великолѣпно. Она превосходно умираетъ, превосходно гиѣвается, превосходно любить, превосходно борется съ собою, великолѣпно плачетъ. При всемъ томъ, какъ и у Сары (хотя все у нея много серьезнѣе), чувствуется: вотъ теперь она изображаетъ смерть, теперь—внутреннюю борьбу, теперь—влюбленность, теперь—сдержанная сцена, теперь—гиѣвъ. Все это дѣлается словно по звонку.

Нельзя сказать, чтобы Режанъ была невпечатлительна. Несправедливо было бы назвать ее ремесленницей своего дѣла. Но техника у нея преобладаетъ. Особенно осложняется вопросъ, когда она изысканно проста въ своей игрѣ. Она выставляетъ эту простоту на видъ, она словно деревянѣеть отъ натуральности. Думаешь: какъ она хорошо изображаетъ натуральность. Ужъ если она хочетъ быть совершенствомъ въ технике своего искусства, ей слѣдуетъ въ совершенствѣ овладѣть переходами. У Дузе, если судить ее только со стороны техники, никогда ничто не совершается какъ бы по звонку. Все слито. Каждая мельчайшая подробность у Режанъ, въ самыхъ «блестящихъ» моментахъ,—мелка сравнительно съ Дузе, когда послѣдняя почему-либо пожелаетъ обратиться къ технике.

Въ «Федорѣ» Дузе спрашиваютъ, кому поклоняется графъ Лорисъ. Лорисъ—убийца ея жениха. У нея единственная цѣль — уничтожить его. Она отвѣчаетъ: «Ми». Это «*Io*», какъ она произносить его, выражаетъ: этотъ человѣкъ—отъявленный негодяй, котораго я ненавижу, но — странно — какъ онъ поразительно боготворить меня; я смѣюсь надъ этимъ, но всетаки я чуть-чуть, немножко люблю его, сама того не зная; однако, если бы кто-нибудь сказалъ, что я хотя бы только прощаю убийцу моего жениха, я бы презирала его всей силой своей скорби; до самой глубины души я оскорбилась бы его грубостью. Чтобы все это выразить, Дузе дѣлаетъ только одно движение рукой, одну перемѣну въ выраженіи лица, одну паузу и говорить затѣмъ: «*Io*». И никогда, во всю жизнь свою уже не забудешь этого «*Io*». Помимо всего другого, это верхъ техники.

У Режанъ иные интересные технические моменты. Въ «Meilhas», въ подавленномъ состояніи духа, должна она болтать съ легкомысленнымъ отцомъ. Она говорить, смѣясь, а слезы у нея въ горлѣ; она тутъ удивительна, великолѣпна; но тотчасъ же подумаешь о томъ, какъ много искусства нужно, чтобы сдѣлать это. И такъ техника Режанъ въ трехъ пунктахъ отличается отъ техники Дузе: она менѣе выразительна, Ре-

жанъ менѣе искусна въ переходахъ, и тамъ, гдѣ Дузѣ даетъ бессмертную мелодію, у нея выходитъ развѣ только каватина. И, однако, Режанъ нельзя назвать только колоратурнымъ талантомъ (было бы легче судить о ней, если бы это было такъ). Она остается великой, несмотря на компромиссъ. Это превосходная трагическая субретка. Въ ея игрѣ есть нѣчто тепличное. Какъ миловидно она умираетъ, какъ трогательно страдаетъ. Въ этомъ есть вѣкоторая поэзія, хотя она столь же бѣдна поэзіей, какъ и трепетомъ вдохновенія. Она не захватываетъ. Въ «Норѣ», когда она пляшетъ съ тамбуриномъ, охваченная глубочайшимъ страданіемъ, она не трогаетъ. Она восхитительна со своими распустившимися великколѣпными, прыгающими волосами, словно безумная. Но что дѣлать! Она «начинаетъ сцену съ тамбуриномъ». Не хватаетъ трепета. Видишь дикое возбужденіе, а не страшную душевную муку. Невольно вспоминается маленькая Сорма. Сорма — музыка. (Великая) Режанъ est vraiment une actrice. Сцены съ Ранкомъ неизначительны, а это пробный камень. Нору просвѣщаетъ у нея случай съ векселемъ, а не вниканіе въ характеръ мужа. Блестящее недоразумѣніе! Это игра француженки, что-то слышавшей о старомъ, чопорномъ норвежцѣ, француженки, которая старается быть чувствительной, старается отрѣшииться отъ себя, а въ результатаѣ является анти-ибсеновской актрисой.

Тонкость и законченность ея игры сказывается въ Жильбертѣ. У нея репетиція на любительскомъ спектаклѣ. Жильбера запнулась. Разсѣянность, любовный зной и дрожь удаются ей въ совершенствѣ. И всетаки не исчезаетъ впечатлѣніе искусственности. Актриса компромисса!

Въ чёмъ она неподражаема, такъ это въ «Sans-Gêne.» Здѣсь она можетъ развернуться. Подобно наряженной обезьянкѣ шатается эта герцогиня-оборвашка по княжескимъ хоромамъ. И всетаки она временами убѣйственно преувеличиваетъ. Примѣряя новое платье со слишкомъ длинными рукавами, она совершенно сознательно является обезьянкой. Ея Санъ-Женѣ — хитрая прачка, уличная дѣвчонка, пройдоха.

Со всемъ, что въ ней есть и чего въ ней нѣть, Режанъ является величайшей французской актрисой своего времени. Она блестяще доказываетъ то, какъ много можетъ сдѣлать техника... безъ помощи вѣчности; и то, что Франція обладаетъ многимъ чудеснымъ... безъ чуда.

* * *

Изъ русскихъ артистовъ Брандесъ познакомился, очевидно, только съ Савиной, а потому отзывъ его о русскихъ неинтересенъ, и нѣть ничего мудренаго, если онъ называетъ русскихъ артистовъ — «актерами императорской сцены».

Зато интересны японцы.

Ихъ искусство на сценѣ — смѣсь нѣжнаго и грубаго, вдумчиваго и дикаго, беспечнаго и ужаснаго. Дѣтское искусство. Оно не имѣеть тонкихъ оттенковъ нашего міросозерцанія; у нихъ не чувствуется промежуточныхъ ступеней нашихъ культурныхъ нравовъ. Въ этомъ искусствѣ нѣтъ нашей души; и однако, она является благоуханіемъ грэзы, растительной миловидности тихаго чуждаго ритма, сверкающей въ своей грѣховности жизни.

Узенькия ножки, тоненькие прутики, разукрашенныя подвижныя

стѣнки, нѣжнотканныя шелковыя одежды. И въ то же время грубость мясниковъ.

Когда Сада-Якко всходитъ по ступенькамъ къ кукольной спаленкѣ, она скользить въ своихъ туфелькахъ, не оглядываясь; когда поеть соловей, въ темнотѣ звучитъ мелодическій барабанчикъ и струны, въ полутьмѣ озаренными фонариками. Когда она передъ смертью горько плачетъ о томъ, что не можетъ выполнить обѣщанія, даннаго прекрасному кавалеру, спасшему ее отъ разбойниковъ, а также о томъ, что ей приходится разстаться съ жизнью, чувствуешь, что есть мостъ отъ насъ къ этой странѣ, но конца этому мосту не видишь.

А въ чемъ же грубость мясниковъ? — Промежуточною ступенью является атлетика, героическая борьба, торжество тѣла. Языкъ тѣла развить сильнѣе языка лица. Многое въ мимикѣ слишкомъ грубо (все ждешь военного танца). Нѣть недостатка въ пинкахъ и затрецинахъ. Менѣе всего развито искусство слова. Въ этомъ отношеніи — цѣлая бездна между Европой и Азіей. Вотъ, напримѣръ, борьба на утесѣ, надъ пропастью. Высшее напряженіе. Кто побѣдить? Борется благородный рыцарь и разбойникъ. Разбойникъ летить въ пропасть внизъ головой; рыцаря еще разъ одолѣваютъ: цѣлая пирамида тѣлъ наваливается на него, но онъ ускользаетъ, освобождаетъ возлюбленную — браво, браво! На прощанье кто-то получаетъ здоровенный пинокъ ногою пониже спины. Ура, это былъ настоящій нѣмецкій ударъ, то бишь... японскій.

Итакъ, вся эта мимика указываетъ скорѣе на ловкость, чѣмъ на душевную глубину. И тѣмъ не менѣе она производить глубокое впечатлѣніе, когда смотришь на Сада-Якко. Она изображаетъ сердечные спазмы. Она задыхается, эта фурія; ея миловидное лицико неузнаваемо; она блѣднѣетъ, глаза скосились, она обмираетъ, синѣеть; она окольваетъ... какъ звѣрь. Вотъ натурализмъ этихъ людей, близкихъ къ растеніямъ. А когда въ роли Кезы ее убиваетъ любимый человѣкъ, и она поддается ему съ фатальною глупостью, видишь, какъ у нея по шеѣ течетъ кровь, да, цѣлый потокъ крови. Передъ убийствомъ бѣтъ она, какъ пѣтухъ. Подъ конецъ Каваками совершаєтъ харакири. Кровь течетъ, журчитъ, струится; вся спина обрызгана кровью.

Японская сцена, какою она является въ Азіи, прошла черезъ тепличныя вліянія.

Сада-Якко называютъ японскою Дузе. Допустимъ, что это не только репортажное словечко. Если она увеличиваетъ сумму красоты и состраданія во всемъ мірѣ японскихъ острововъ, то съ этимъ можно согласиться. Но чтобы она могла быть хоть подобиемъ Дузе въ иномъ смыслѣ, это приходится принимать лишь на вѣру — на вѣру... Признать этого нельзя.

Искусство цветовъ и мясниковъ. Вдумчивое и дикое, беззаботное и убийственное. То, что они привносятъ въ него проникновеннаго и вдумчиваго, является даже почти помимо ихъ воли.

Мостъ между этими двумя мірами человѣчества здѣсь и кончается.